

# НОВОСЕЛЬЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией С. ПРЕГЕЛЬ

№ 21

СЕНТЯБРЬ-ОКТАБРЬ 1945

ИВ. БУНИН

## МАДРИД

Copyright, 1945,  
by the Author.

Поздним вечером шел в месячном свете вверх по Тверскому бульвару, а она навстречу: идет гуляющим шагом, держит руки в маленькой муфте и, поводя круглой каракулевой шапочкой, надетой слегка набекрень, что-то напевает. Подойдя, приостановилась:

— Не хотите ли разделить компанию?

Он посмотрел: небольшая, курносенькая, немножко широкоскулая, глаза в ночном полусвете блестят, улыбка милая, несмелая, голосок в тишине, в морозном воздухе чистый...

— Отчего же нет? С удовольствием.

— А вы сколько дадите?

— Рубль за любовь, рубль на булавки.

Она подумала.

— А вы далеко живете? Недалеко, так пойду, после вас еще успею походить.

— Два шага. Тут, на Тверской, номера «Мадрид».

— А, знаю! Я там раз пять была. Меня туда один шулер водил. Еврей, а ужасно добрый.

## Новоселье

— Я тоже добрый.

— Я так и подумала. Вы симпатичный, сразу мне понравились...

— Тогда, значит, пошли.

По дороге, все поглядывая на нее, — на редкость милая девчонка! — стал расспрашивать:

— Что-ж ты это одна?

— Я не одна, мы всегда втроем выходим: я, Мур и Анеля. Мы и живем вместе. Только нынче суббота, их приказчики взяли. А меня никто за весь вечер не взял. Меня не очень берут, любят больше полных или уж чтобы как Анеля. Она хоть худая, а высокая, дерзкая. Пьет — страсть и по цыгански умеет петь. Она и Мур мужчин терпеть не могут, влюблены друг в друга ужас как, живут как муж с женой...

— Так, так... Мур... А тебя как зовут? Только не ври, не выдумывай.

— Меня Нина.

— Вот и врешь. Скажи правду.

— Ну, вам скажу. Поля.

— Гуляешь, должно быть, недавно?

— Нет, уж давно, с самой весны. Да что все расспрашивать! Дайте лучше папиросочку. У вас, верно, очень хорошие, ишь какой на вас клош и шляпа!

— Дам, когда придем. На морозе вредно курить.

— Ну, как хотите, а мы всегда на морозе курим и ничего. Вот Анели вредно, у ней чахотка... А отчего вы бритый? Он тоже был бритый...

— Это ты все про шулера? Однако запомнился он тебе!

— Я его до сих пор помню. У него тоже чахотка, а курит ужас как. Глаза горят, губы сухие, грудь провалилась, щеки провалились, темные...

— А кисти волосатые, страшные...

— Правда, правда! Ай вы его знаете?

— Ну вот, откуда же я могу его знать!

— Потом он в Киев уехал. Я его на Брянский вокзал хо-

дила провожать, а он и не знал, что приду. Пришла, а поезд уж пошел. Побежала за вагонами, а он как раз из окошка высунулся, увидал меня, замахал рукой, стал кричать, что скоро опять приедет и киевского сухого варенья мне привезет.

— И не приехал?

— Нет, его, верно, поймали.

— А откуда же ты узнала, что он шулер?

— Он сам сказал. Напился портвейну, стал грустный и сказал. Я, говорит, шулер, все равно что вор, да что же делать, волка ноги кормят... А вы, может, актер?

— Вроде этого. Ну, пришли...

За входной дверью горела над конторкой маленькая лампочка, никого не было. На доске на стене висели ключи от номеров. Когда он снял свой, она зашептала:

— Как же это вы оставляете? Обворуют!

Он посмотрел на нее, все больше веселя:

— Обворуют — в Сибирь пойдут. Но что за прелесть мордашка у тебя!

Она смутилась:

— Все смеетесь... Пойдемте за ради Бога скорей, ведь все-таки это не дозволяется водить к себе так поздно...

— Ничего, не бойся, я тебя под кровать спрячу. Сколько тебе лет? Восемнадцать?

— Чудной вы! Все знаете! Восемнадцатый.

Поднялись по крутой лестнице, по истертому коврику, повернули в узкий, слабо освещенный, очень душный коридор, он остановился, всовывая ключ в дверь, она поднялась на цыпочки и посмотрела, какой номер:

— Пятый! А он стоял в пятнадцатом в третьем этаже...

— Если ты мне про него еще хоть слово скажешь, я тебя убью.

Губы у нее сморщились довольной улыбкой, она, слегка покачиваясь, вошла в прихожую освещенного номера, на ходу расстегивая пальтецо с каракулевым воротничком:

## Новоселье

- А вы ушли и забыли свет погасить...
- Не беда. Где у тебя носовой платочек?
- На что вам?
- Раскраснелась, а все-таки нос озяб...

Она поняла, поспешно вынула из муфты комочек платка, утерлась. Он поцеловал ее в холодную щечку и потрепал по спине. Она сняла шапочку, тряхнула волосами и стоя стала стягивать с ноги ботинок. Ботинок не поддавался, она, сделав усилие, чуть не упала, схватилась за его плечо и звонко засмеялась:

- Ой, чуть не полетела!

Он снял палец с ее черного платяца, пахнущего материей и теплым телом, легонько толкнул ее в номер, к дивану:

- Сядь и давай ногу.
- Да нет, я сама...
- Сядь, тебе говорят.

Она села и протянула правую ногу. Он встал на одно колено, ногу положил на другое, она стыдливо одернула подол на черный чулок:

— Вот какой вы, ей Богу! Они, правда, у меня страсть тесные...

- Молчи.

И, быстро стащив ботинки один за другим вместе с туфлями, откинул подол с ноги, крепко поцеловал в голое тело выше колена и встал с красным лицом:

— Слушай, хотел сперва угостить тебя портвейном, да не могу, выпьем потом.

— Что вы не можете? — спросила она, стоя на ковре маленькими ногами в одних чулках, трогательно уменьшившись в росте.

- Совсем дурочка! Ждать не могу, — поняла?
- Раздеваться?
- Нет, одеваться!

И, отвернувшись, подошел к окну и торопливо закурил.

За двойными стеклами, снизу замерзшими, бледно светали в месячном свете фонари, слышно было, как, гремя, неслись мимо вверх по Тверской, бубенцы на голубцах... Через минуту она окликнула его:

— Я уж лежу.

Он потушил свет и, как попало раздевшись, торопливо лег к ней под одеяло. Она, вся дрожа, прижалась к нему и зашептала с мелким, счастливым смехом:

— Только за ради Бога не дуйте мне в шею, на весь дом закричу, страсть боюсь щекотки...

С час после того она крепко спала. Лежа рядом с ней, он глядел в полутьму, смешанную с мутным светом с улицы, думая с неразрешающимся недоумением: как же это может быть, что она под утро «куда-то уйдет? Куда? Живет с какими то стервами над какой-нибудь прачешной, каждый вечер выходит с ними как на службу, чтобы заработать под каким-нибудь скотом два целковых — и какая детская беспечность, простосердечная идиотичность! Я, мне кажется, тоже «на весь дом закричу» от жалости, когда она завтра соберется уходить...

— Поля, — сказал он, садясь и трогая ее за голое плечо.

Она испуганно очнулась:

— Ох, батюшки! Извините пожалуйста, совсем нечаянно заснула... Я сейчас, сейчас...

— Что сейчас?

— Сейчас встану, оденусь...

— Да нет, давай ужинать. Никуда я тебя не пушу до утра.

— Что вы, что вы! А полиция?

— Глупости. А мадера у меня ни чуть не хуже портвейна твоего шулера.

— Что-ж вы мне все попрекаете им?

Он внезапно зажег свет, резко ударивший ей в глаза, она сунула голову в подушку. Он сдернул с нее одеяло, стал целовать в затылок, она радостно забила ногами:

## Новоселье

— Ой, не щекотите!

Он принес с подоконника бумажный мешочек с яблоками и бутылку крымской мадеры, взял с умывальника два стакана, сел опять на постель и сказал:

— Вот, ешь и пей. А то убью.

Она крепко надкусила яблоко и стала есть, запивая мадерой и рассудительно говоря:

— А что ж вы думаете? Может, кто и убьет. Наше дело такое. Идешь неизвестно куда, неизвестно с кем, а он либо пьяный, либо полоумный, кинется и задушит, либо ножом зарежет... А до чего у вас теплый номер! Сидишь вся голая и все тепло. Это мадера? Вот люблю! Куда ж сравнить с портувейном, он завсегда пробкой пахнет.

— Ну, не завсегда...

— Нет, ей Богу пахнет, хоть два рубля за бутылку заплати, одна честь.

— Ну, давай еще налью. Давай чокнемся, выпьем и поцелуемся. До дна, до дна.

Она выпила и так поспешно, что задохнулась, закашлялась и, смеясь, упала головой к нему на грудь. Он поднял ей голову и поцеловал в мокрые деликатно сжатые губки.

— А меня придется провожать на вокзал?

Она удивленно раскрыла рот:

— Вы тоже уедете? Куда? Когда?

— В Петербург. Да это еще не скоро.

— Ну, слава Богу! Я теперь только к вам буду ходить. Вы хотите?

— Хочу. Только ко мне одному. Слышишь?

— Ни за какие деньги ни к кому не пойду.

— Ну то-то же. А теперь — спать.

— Да мне нужно на минуточку...

— Вот тут, в тумбочке.

— Мне на виду стыдно. Погасите на минуточку огонь...

— И совсем погашу. Третий час...

В постели она легла ему на руку, опять вся прижавшись

к нему, но уже тихо, ласково, а он стал говорить:

— Завтра мы с тобой будем вместе завтракать...

Она живо подняла голову:

— А где? Вот я раз была в «Тереме», это за Триумфальными Воротами, дешево до того, прямо даром, а уж сколько дают — съесть нельзя!

— Ну, это мы посмотрим, где. А потом ты пойдешь домой, чтобы твои стервы не подумали, что тебя убили, да и у меня дела есть, а к семи опять приходи ко мне, поедем обедать к Патрикееву, там тебе понравится — оркестрион, балалаечники...

— А потом в «Эльдорадо» — правда? Там сейчас идет чудная фильма «Мертвец-беглец»...

— Великолепно. А теперь — спи.

— Сейчас, сейчас... Нет Мур не стерва, она страсть несчастная. Я бы без нее пропала.

— Кто это?

— Она папина сестра двоюродная...

— Ну?

— Папа мой был сцепщиком на товарной станции в Серпухове, ему там грудь раздавило буферами, а мама умерла, когда я была еще маленькой, я и осталась одна на всем свете и поехала к ней в Москву, а она, оказывается, давно уж не служит по номерам горничной, мне дали ее адрес в адресном столе, я приехала к ней с корзинкой на извозчике на Смоленский рынок, смотрю, а она с этой Анелей живет и вместе с ней ходит по вечерам на бульвары... Ну и оставила меня у себя, а потом уговорила тоже выходить...

— А говоришь, что ты без нее пропала бы.

— А куда-ж бы я делась в Москве одна? Конечно, она меня погубила, да разве она мне зла желала? Ну да что об этом говорить. Может, Бог даст, место какое найду тоже в номерах, только уж место не брошу и уж никого к себе не подпущу, мне и чаевых будет довольно, да еще на всем готовом. Вот если бы тут, в вашем «Мадриде»! Чего бы лучше!

## Новоселье

— Я об этом подумаю; может, и устрою тебе где-нибудь такое место.

— Я бы вам в ножки поклонилась!

— Чтоб вышла уж полная идиллия...

— Что?

— Нет, ничего, это я со сна... Спи.

— Сейчас, сейчас... Я что-й-то раздумалась...

26.4.44

## ВТОРОЙ КОФЕЙНИК

Она и натурщица его, и любовница, и хозяйка — живет с ним в его мастерской на Знаменке; желтоволосая, невысокая, но ладная, еще совсем молодая, миловидная, ласковая. Теперь он пишет ее по утрам «Купальщицей»: она, на маленьком помосте, как будто возле речки в лесу, не решаясь войти в воду, откуда должны глядеть глазастые лягушки, стоит вся голая, простонародно развитая телом, прикрывая рукой золотистые волосы внизу. Поработав с час, он отключается от мольберта, смотрит на полотно и так и этак, прищуриваясь, и рассеянно говорит:

— Ну, станция. Подогревай второй кофеиник.

Она облегченно вздыхает и, голая босыми ногами по цинкам, бежит в угол мастерской, к газовой плитке. Он что-то соскребает с полотна тонким ножичком, плитка шумит, кисло пахнет своими зелеными рожками и душисто кофею, а она беззаботно запекает на всю мастерскую звонким голосом:

Начивала ту-учка, ту-учка золота-ая...

На груди-и утеса велика-ана...

И, повернув голову, радостно говорит:



— Это мне художник Ярцев выучил. Вы его знали?

— Знал немного. Долговязый такой?

— Он самый.

— Даровитый малый был, но дубина порядочная. Он ведь, кажется, помер?

— Помер, помер. Спился. Нет, он добрый был. Я с ним год жила, вот как с вами. Он и невинности меня лишил, всего на втором сеансе. Вскочил вдруг от мольберта, бросил палитру с кистями и сбил мне с ног на ковер. Я испугалась до того, что и крикнуть не смогла. Вцепилась ему в грудь, в пинжак, да куда тебе! Глаза бешеные, веселые... Как ножом зарезал.

— Да, да, ты мне это уж рассказывала. Молодец. И ты все-таки любила его?

— Конечно, любила. Очень боялась. Надругался надо мной, выпимши, не приведи Господи. Я молчу, а он: «Катька, молчать!»

— Хорош!

— Пьяный. Кричит на всю студию: «Катька, молчать!» А я и так давно молчу. Потом как зальется, зальется: «Начивала тучка...» И сейчас же похватит на иные слова: «Ночевала сучка, сучка молодая» — это я-то, значит. Со смеху помрешь! И опять — трах ногой в пол: «Катька молчать!»

— Хорош. Но постой, я забыл: ведь тебя какой-то твой дядя привез в Москву?

— Дядя, дядя. Осталась я сиротой по шашнадцатому году, а он мне и привез. Это уж к моему другому дяде в его извозничий трактир. Я там посуду мыла, белье хозяйское стирала, потом тетя вздумала в бордель меня продать. И продала бы, да Бог спас. Приехали раз под утро из «Стрельни» опохмеляться Шаляпин с Коровиным, увидали, как я тащила на стойку с Родькой половым кипячий ведерный самовар и давай кричать и хохотать: «С добрым утром, Катенька! Хотим, чтоб бесприменно ты, а не этот сукин сын половой подавал нам!» Ведь как угадали, что меня Катей зовут! Дядя уж про-

## Новоселье

снулся, вышел, зеваает, насупился — она, говорит, не к этому делу приставлена, не может подавать. А Шаляпин как рывкнет: «В Сибири сгною, в кандалы закую — слушай мой приказ!» Тут дядя сразу испужался, я тоже на смерть испужалась, уперлась было, а дядя шипит: «Иди подавай, а то я потом шкуру с тебя спущу, это самые знаменитые люди во всей Москве». Я и пошла, а Коровин оглядел мне всю, дал десять рублей и велел к нему завтра притить, писать мне вздумал, дал свой адрес. Я пришла, а он уж раздумал писать и послал к доктору одному, он был страшный приятель со всеми художниками, пьяных и мертвых свидетельствовал при полиции и тоже немножко писал. Ну, он и пустил мне по рукам, не велел воротаться в трактир, я так и осталась в одном платышке.

— То есть как это пустил по рукам?

— А так. По мастерским. Сперва я позировала вся одетая, в желтом платочке, и все художницам, Кувшинниковой, сестре Чехова, — она, по правде сказать, совсем никуда была в нашем деле, дилитанка, — потом попала аж к самому Малавину: он мне посадил голую на ноги, на пятки, спиной к себе, с рубашкой над головой, будто я ее надеваю, и написал. Спина и зад вышли отлично, сильная лепка, только он все испортил пятками и подошвами, совсем противно вывернул их под задом...

— Ну Катька, молчать. Второй звонок. Давай кофейник.

— Ой, батюшки, заговорила! Даю, даю...

30.4.44